

ЛИНА ЛИЧМАН

*Любовь
без веры
не живет.*

РУДН

Российский университет
дружбы народов

КОНАКОВО

СУМЕРЕЧНЫЙ ТАКСИСТ

ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ

1. 23 года, работает в аптеке
2. Вика
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

ПРОПАЛА
ДЕВУШКА

Ушла и не вернулась

17 декабря 2008

Вечерняя
Москва

3 марта 2009

МОСКОВСКИЙ
КОМСОМОЛЕЦ

21 ноября 2010

ТЕТРАДЬ
в клетку

Лина Личман

**Сумрачный таксист, или
Любовь без Веры не живёт**

«Автор»

2026

Личман Л.

Сумрачный таксист, или Любовь без Веры не живёт /
Л. Личман — «Автор», 2026

Она просто хотела стать журналистом. Но некоторые истории сами находят своего автора. Любовь Кузнецова — студентка журфака. Одна случайная просьба заставит её усомниться во всём, во что она привыкла верить. Чужие тайны. Старые страхи. Случайные встречи, которые никогда не бывают случайными. И вопросы, на которые лучше бы не находить ответов. Но самое страшное — не встретиться лицом к лицу с чудовищем. Самое страшное — понять, что чудовища почти никогда не выглядят таковыми. Это история не только о расследовании. Это история о доверии, о семье, о выборе и о цене одной-единственной ошибки.

© Личман Л., 2026

© Автор, 2026

Лина Личман

Сумрачный таксист, или Любовь без Веры не живёт

Все персонажи и события данного произведения являются художественным вымыслом. Любые совпадения с реальными людьми, организациями или событиями случайны. Действие романа происходит в 2010 году.

Я шла уже из последних сил, да нет, не шла, плелась. Ноги окончательно заковенели, рук почти не чувствовала, лицо жгло от мороза. Но где-то в подсознании раздавался голос мамы: Иди доченька, только иди, еще немножко, только не останавливайся.

Спать, боже, как хочется спать. А снег, наверное, такой мягкий, как перина у бабки в деревне, на которую я в детстве падала с разбегу, и теперь эта перина лежала прямо здесь, между двух сосен, в аккуратной ямке. Кто-то будто специально её для меня взбил и подушку положил в изголовье. Ляг, Любочка. Полежи минутку. Закрой глаза, ты же устала.

«Спать нельзя. Замёрзнешь».

Снова голос мамы. Не сейчас — из какого-то очень давнего «давно», из кухни, из той зимы, когда я долго болела и валялась с температурой, а мама не давала мне задремать днём, всё тормошила: не спи, не спи. Я тогда злилась — чего пристала, дайте человеку умереть спокойно. Теперь поняла.

Снег, который кажется тёплым, — это последнее, что чувствуешь. Я это знала откуда-то так же твёрдо, как собственное имя. А вот как меня в этот лес занесло — не знала. Тут память моя обрывалась, как плёнка на старом магнитофоне: жуёт, жуёт — и тишина.

Кое-что, правда, осталось. Огрызками. Стоянка у торгового центра, пустая, гулкая. Фары. Тёмная машина без шашечек. Чей-то голос — спокойный, ласковый, как у участкового врача, который пришёл на дом и сейчас выпишет микстуру: «Замёрзнешь же. Садись, красавица». И я села. А между той тёплой машиной и этим холодным лесом был провал — белый, ватный, заваленный снегом по самую макушку. В этом провале что-то было. Тело моё это «что-то» помнило лучше головы — потому и гнало меня вперёд, хотя голова давно проголосовала за то, чтобы лечь.

Нельзя, но глаза закрываются, а лес, как будто шепча колыбельную, зовёт прилечь и отдохнуть. Я положила голую ладонь на ближайшую сосну — просто чтобы не сложиться пополам. Кора была шершавая и — вот странность — тёплая. Теплее всего остального в этом мире. Голая рука, снег, самый край — там, где сон и смерть уже путаются местами. Наяву со мной так не бывает: чтобы кого-то впустить, мне надо заснуть. Но тут граница истончилась сама, и дверь, которую я всю жизнь держу на засове, тихо приоткрылась без спросу.

И ко мне пришли. Не из памяти выплыло — ко мне пришли, как приходят во сне свои. У этой же сосны, тоже зимой, стояла другая. Молодая, в распахнутой куртке, без шапки, простоволосая. Её не вели под руки — её несли. Голова запрокинута, одна рука болтается вниз, как плеть, и пальцы синие, без перчаток. Она была здесь до меня — и вот пришла показать. Полсекунды, не дольше, — а потом снова только снег, моя ладонь и моя сосна.

Я отёрнула руку, как от утюга. Из ладони шла кровь — кора содрала кожу, а я и не заметила, когда. Кровь на снегу была неприлично, до неловкости яркой — как гуашь из школьного набора, та самая, красная, которой вечно не хватало, потому что ею все рисовали кремлёвские звёзды. Я смотрела на эту кровь и думала одну-единственную мысль, цепляясь за неё, как за поручень: «Вот это хорошо. Это уже похоже на живую. Мёртвые так ярко не кровят».

В виске, за левым глазом, привычно застучало — там у меня всегда стучит после такого. Цена. За всё, говорила бабушка, надо платить, и я плачу головной болью да кровью из носа, а за что плачу — это разговор долгий, и сейчас он точно не ко времени.

«Иди, Любочка. Только иди».

На этот раз — не мама. Это я уже сама себе. Иди, потому что назад нельзя, лежать нельзя, кричать тут некому, разве что соснам, а где-то впереди должна быть трасса. И я продолжала ковылять, шаги становились все меньше, сил практически не осталось, но останавливаться было нельзя. И вот, кажется, что совсем рядом послышался шум дороги: далёкий, рваный шум машин. Кто-то ехал. Кто-то жил: вёз картошку, ругался с женой по громкой связи, дремал на пассажирском. Мне надо было просто до них доползти.

Только бы дойти — мелькнуло в голове: только бы не упасть, не остановиться. И тело, как будто услышав просьбу, начало оживать. Шаг. Пауза. Шаг. Считать шаги я бросила — стала считать вдохи. Вдох-выдох — один. До десяти дотянула — значит, могу ещё. До двадцати — могу ещё. На тридцатом мне почудилось, что сзади, по моему следу, кто-то идёт. Мягко. Не торопясь. Я не обернулась.

Если за тобой идут — оборачиваться нельзя. Это я тоже знала намертво, неведомо откуда, как будто с этим знанием и родилась. Не оборачивайся, не доставляй ему удовольствия видеть твоё лицо. Иди.

И между чёрных стволов наконец мелькнул свет. Не звезда — жёлтый, живой, скользнул по соснам и пропал. Через секунду ещё один. Кто-то проехал по той дороге, которую я слушала весь этот бесконечный лес.

Я заплакала. Тихо, без голоса, без сил — просто потому, что по-другому уже не получалось. Слёзы обожгли обмороженное лицо так, что я зашипела сквозь зубы. И всё равно шла и шла на жёлтое, и смотрела только вперёд, и не оборачивалась.

А было мне в ту ночь девятнадцать лет, два месяца и одиннадцать дней. И я очень, очень хотела дожить хотя бы до двадцати.

Зачем я вам всё это рассказываю — так подробно, с самого начала, с пирогов и общаги, хотя вы уже знаете, чем кончится? А вот зачем. Про лес и тёмную машину вам и без меня расскажут — в любой криминальной хронике этого добра навалом. А про то, как обычная девчонка девятнадцати лет с глазами разного цвета дошла до того леса, — про это не расскажет никто. Кроме меня.

И ещё потому, что я журналист. А журналист не умеет молчать о том, что видел, — это у нас профессиональное, неизлечимое. Мне нужно это записать. Назвать поимённо. Положить на бумагу, чёрным по белому: было. Я ведь всю эту историю только тем и занималась, что вытаскивала людей из «отсутствия события». Так вот, это — про то же самое. Только на сей раз я вытаскиваю оттуда саму себя. Ту девятнадцатилетнюю дуру в красной шапке, которая ещё ничего не знает — ни про Веру, ни про лес, ни про то, сколько всего ей предстоит сосчитать.

Так что устраивайтесь поудобнее. Будет страшно, будет смешно, будет больно — у меня, как в жизни, всё вперемешку. И, чур, не подглядывать в конец. Хотя кого я обманываю: конец вы уже видели. Я ж сама с него и начала. Ну ничего. Дело ведь не в том, чем кончится. Дело в том, как мы туда дойдём. Поехали.

За три месяца до того...

Проснулась я от тишины — и сразу поняла, что дело пахнет керосином. Потому что в комнате на четверых тишины не бывает. Не предусмотрено конструкцией. Даже глубокой ночью кто-нибудь сопит так, что хоть протокол составляй, а уж по утрам у нас и вовсе филармония. Светка с пяти ноль-ноль гоняет фен — включает его «на разогрев», пока чистит зубы; я этот обряд изучила за полтора курса, как «Отче наш». Наташка скребёт ложкой в банке кофе, будто золото из породы намывает. Маринка тихо шуршит страницей — она читает по утрам,

неизвестно что и неизвестно зачем, как другие крестятся: на всякий случай. А сейчас — ни фена. Ни ложки. Ни страницы. Гробовая тишина, хоть святых выноси.

Я подняла голову с подушки, продрала глаза и посмотрела на будильник. Семь сорок две. И весь мой сегодняшний день, до этой секунды разложенный в голове по полочкам аккуратно, как мамин сервант, в одну секунду с этих полочек съехал и грохнулся на пол. Со звоном.

У Ивана Даниловича лекция в восемь.

От общаги до универа я добегаю за семь минут — если коротким путём, через пустырь, и если не гололёд, и если собака вахтёрши тётки Раи сегодня всё-таки на привязи, а не несётся на меня с третьего этажа с энтузиазмом, как будто я лично должна ей денег. Семь минут — это умыться, обуться, натянуть куртку и не забыть тетрадь. Чай отменяется. Завтрак отменяется. Человеческое достоинство, судя по всему, тоже придётся оставить под подушкой.

— Подготовилась, отличница, — сказала я себе маминым голосом.

Мама именно так говорит, когда я к чему-нибудь готовлюсь как на медаль, ночами не сплю, конспекты по три раза переписываю — а потом заваливаю самое простое. Например, не проспать.

«У тебя, Любушка, талант от Бога, — говорит мама, — всё сделать на пятёрку и одно, самое-самое простенькое, угробить начисто».

Я с этим талантом родилась и, чует моё сердце, с ним и в гроб лягу.

В коридоре стояла та гулкая, нежилая пустота, какая бывает, когда все ушли разом и довольные. Я плеснула в лицо ледяной водой, влетела обратно в комнату и начала охоту на обувь. Левый сапог обнаружился под кроватью, в обнимку с пыльным комом неизвестного происхождения. Правый, как порядочный, стоял на месте.

«Хоть кто-то в этой комнате взрослый», — подумала я про сапог и поскакала на одной ноге, прыгая во второй.

Горячую воду у нас давали по большим церковным праздникам, да и то не всегда — видимо, по настроению невидимого водяного божества, заведовавшего общажными трубами. Поэтому утренний душ был не гигиенической процедурой, а экстремальным спортом с элементами молитвы. Очередь занимали заранее, а заходя внутрь, никогда не знали, что достанется: кипяток, лёд или их хаотичное чередование. Мылись по системе: «намочился — выскочил — намылвился на воздухе — заскочил — смыл — выжил».

Рекорд поставила Светка. Как-то сунулась помыть голову в неурочный час — и именно тогда этажом ниже кто-то спустил воду. Из душа она вылетела с таким боевым кличем, что тётя Рая на вахте решила: пожар. После этого походы в душ мы согласовывали почти как запуски ракет — с учётом того, кто, когда и на каком этаже собирается открыть кран.

А ещё была вечная война: за розетки (одна на комнату, а фенов, плоек и кипятильников — на маленькую армию), за подоконник (единственное место, куда зимой ставили продукты вместо холодильника, которого у нас отродясь не водилось) и за тишину перед сессией (мероприятие настолько утопическое, что я и описывать не берусь).

На лестнице я застёгивалась уже на бегу. Тетрадь, как выяснилось двумя этажами ниже, осталась лежать на тумбочке — гордая и забытая. Возвращаться я не стала: примета дурная, да и память у меня тогда была ещё молодая, цепкая, я записывала лекции прямо в голову, без посредников.

Тётя Рая на вахте оторвалась от вязания и проводила меня взглядом, в котором читался весь её богатый жизненный опыт.

— Опять летишь, болезная? — крикнула она вслед. — Шею-то не сверни на крыльце, там лёд!

— Не дождётесь, тетя Рай! — крикнула я уже из дверей.

И, разумеется, чуть не навернулась на крыльце. Лёд был именно там, где обещала тётя Рая. А она в этой жизни не ошибалась никогда — этим и страшна.

Тётя Рая была у нас на вахте вечной, как сама общага. Никто не помнил, когда она появилась и сколько ей лет, — казалось, её поставили тут вместе с фундаментом. Днём она вязала бесконечный носок (кому — загадка; носок рос годами, и конца ему не предвиделось), знала всех нас по именам, по курсам и по кавалерам и вела учёт нашим возвращениям почище любой Маринки. Опоздать на вахту после полуночи означало получить выговор позже деканского — с разбором личной жизни и прогнозом на будущее, обычно мрачным.

Мы её, конечно, тихо ненавидели — за вечное: «куда в грязной обуви», «опоздаешь, на улице ночевать останешься», «снег отряхивать снаружи надо», «опять покрашена, как не пойми кто». И за то, что приезжавшим родителям она докладывала всё. Но когда у Наташки на втором курсе стряслась беда — парень бросил аккурат перед сессией, и она ревела трое суток, не вылезая из-под одеяла, — именно тётя Рая поднялась к нам на этаж (а она грузная, ей лестница тяжело даётся), приволокла банку варенья и выдала своё коронное: «Ну-ка хватит реветь. Мужиков на свете как грязи, а ты одна такая. Цени дефицит». И Наташка почему-то перестала реветь.

Вот такие они, драконы на вахте. Снаружи — гроза, лютует, в журнал записывает. А внутри — приглядывает за чужими детьми, которых родители отпустили в большой город и доверили, по сути, ей, тёте Рае с её носком.

Через пустырь я неслась, как лошадь, почуявшая овёс, выдыхая пар, как растопленный паровоз, и влетела в аудиторию ровно за две минуты до начала. Не той аккуратной отличницей, на которую мама посмотрела бы с гордостью, а вот такой: взмыленной, с мокрой чёлкой, прилипшей ко лбу, с одной надетой перчаткой и одной зажатой в зубах, потому что вторую натянуть на бегу — это, доложу я вам, отдельный вид спорта, которым я не владею.

Я постучала.

— Входите, — пробасил из-за двери Иван Данилович.

У него такой голос, что от одного «входите» внутри что-то детское поджимает уши и бормочет «извините, пожалуйста». Я просочилась в аудиторию бочком, на цыпочках, и поползла к своему месту у окна, стараясь стать как можно меньше и незаметнее — что при моём росте, в общем, нетрудно.

Иван Данилович посмотрел на меня поверх очков. Ровно одну секунду. И снова уткнулся в свои бумаги, сделав вид, что никакой растрёпанной Кузнецовой в дверях не было и в помине. Это его фирменное. За опоздание он почти никогда не выгоняет и голос не повышает — у него другое оружие, этот секундный взгляд поверх очков, от которого хочется провалиться сквозь пол прямиком в ад и там тихо просидеть до конца семестра.

— Раз все наконец в сборе, — сказал он, не уточняя, кто именно опоздал, но как-то так, что и уточнять не надо было, — продолжим о том, чего журналисту делать нельзя ни при каких обстоятельствах.

«Опаздывать», — мысленно подсказала я.

А ведь за это место я держалась зубами. За эту обшарпанную аудиторию с видом на вечную стройку, за этого страшного старика с его «нельзя ни при каких обстоятельствах». Девочка из Конаково, где вся карьера — либо на фабрику, либо за прилавок, либо удачно выйти за того, кто не пьёт (вид редкий, впору в Красную книгу заносить).

Я приехала в Москву с одной дурацкой, ни на чём не основанной уверенностью: что моё дело — рассказывать. Про тех, кого иначе не услышат. Звучит пафосно, знаю; Иван Данилович за такие формулировки бьёт по рукам линейкой. Но если без красот: я просто не умею пройти мимо чужой истории — как не умею пройти мимо вопроса без ответа.

Кстати, насчёт взглядов. На меня вообще смотрят чуть дольше, чем принято в приличном обществе. У меня глаза разного цвета. Правый — тёплый, ореховый, нормальный человеческий глаз, на такой и внимания не обратишь. А левый — светло-голубой, до того светлый, что кажется почти прозрачным, и зрачок в нём вечно как будто чуть расширен. «Стеклянный», —

сказала про него одна нянечка в детстве и при этом, я отлично помню, украдкой перекрестилась, будто я не пятилетка, а чёрт из табакерки. Я к этому привыкла, как привыкают к родинке на видном месте. В школе из-за него дразнили ведьмой, в институте из-за него же почему-то начинают присматриваться и находить «загадочность». Я научилась в нужный момент опускать ресницы — и тогда я обычная серая мышка, каких на журфаке пруд пруди. А когда смотрю прямо, в упор, обоими сразу, — у собеседника по спине бегут мурашки, и разговор как-то сам собой быстренько сворачивается. Очень удобно с навязчивыми ухажёрами, между прочим. И с продавцами, которые пытаются впарить просрочку.

Но в то утро на мои глаза никто не смотрел. Все таращились в доску да в свои тетради, а я записывала лекцию прямо в голову и думала о пирогах. Потому что была пятница. А впереди была электричка. Домой.

Я люблю Ленинградский вокзал. Странную любовью, потому что любить его, в общем, не за что. Пахнет шаурмой, табаком и мокрой шерстью. Публика — на любой вкус: дачники с рассадой, мужики с пивом, тётки с клетчатыми сумками размером с холодильник, в которых наверняка едет к зятю в Тверь стратегический запас капусты. Но именно отсюда — домой. Каждую пятницу я стою у табло, ищу свою платформу и думаю только одно: «Уже сегодня».

Вокзал гудел, как улей, в который сунули палку. Диктор своей резиновой скороговоркой объявлял электрички, толпа текла к платформам с одним выражением лица — «домой». Пахло мандаринами, реагентом и ноябрём — тем самым, который в Москве пахнет химией, а за городом уже снегом и дымом.

Электричка набилась, как бочка селёдкой. По обе стороны от меня в шарфы дышали двое не вполне трезвых мужичков — оба добрейшей души, но громкие, как два радиоприёмника, настроенных на разные волны и обиженных друг на друга. Один всю дорогу пытался рассказать мне, какая у него «золотая баба, но с характером», второй — что «рыба сейчас не та пошла». Я кивала обоим сразу, отчего, кажется, окончательно их запутала.

Сзади меня методично подпирала к стенке вагона необъятная тётка, видимо, в твёрдой надежде, что стена окажется сговорчивее меня. Стена не поддавалась. Я тоже.

— Девушка, ну подвиньтесь, что вы как этот, — пыхтела тётка.

— Как кто? — из вредности уточнила я.

— Как памятник!

Я честно попыталась стать менее похожей на памятник, но деваться было решительно некуда: за спиной у меня была стена, перед лицом — чужой воротник из чего-то, что при жизни, возможно, было кроликом. Я считала фонари за окном и держала оборону единственным доступным способом — мыслями о маминых пирогах.

Мамины пироги, доложу я вам, — это отдельная религия, со своими святынями и заповедями. С капустой — отдельно. С черникой — отдельно. И каждый сам по себе совершенство, будто их не пекли руками, а отливали по форме где-нибудь на небесах в свободное от чудес время. Я выстраивала между собой и этим вагоном стену из черники и капусты, и в вагоне делалось как-то теплее.

В тамбуре кто-то без усталости хлопал дверью, и каждый раз вваливался кусок мороза, как незванный гость. На стекле от дыхания нарастал иней, и в этом инее кто-то ещё до меня нарисовал пальцем сердечко и не дописал имя — «Све...». Я всю дорогу гадала, кто эта недонаписанная Света и за какие грехи её бросили на полпути, прямо посреди объяснения в любви. У окна напротив бабуся стерегла авоську с капустой так, будто это не капуста, а фамильное серебро дома Романовых: одну руку держала на сетке, а взглядом обводила вагон, выискивая потенциальных капустных воров. На меня посмотрела особенно подозрительно. Видимо, из-за глаза.

Я смотрела на эту капусту, на сердечко, на запотевшее стекло — и всё внутри меня потихоньку вставало на свои места, как косточки у мануального терапевта. Электричка домой лечит

лучше любого врача и дешевле любой аптеки. Это знает каждый, кто хоть раз в жизни ехал в ней с чугунной головой — к маме.

Дорогу эту я знала наизусть — каждую станцию, каждый поворот, каждый облезлый плакат. Москва отпускала медленно, нехотя: сначала тянулись гаражи, промзоны, заборы в три кольца, потом дачные платформы с дикими названиями, а потом наконец начинался лес, настоящий, и на душе делалось просторнее. Я любила сидеть к окну, привалиться виском к холодному стеклу и просто смотреть, как мимо едет зима.

В электричке всегда был свой народ, свой маленький передвижной мир. Бабки с рассадой и клетчатými баулами. Мужики с пивом и неизбежным разговором про политику и рыбалку. Контролёры, ходившие парой, как волки. Торговцы, втюхивавшие всё на свете — от газет и мороженого до фонариков и средства от тараканов «убивает наповал, проверено». Я их всех знала как родных, хоть и не была знакома ни с кем лично. Однажды напротив меня всю дорогу ехала старушка и вязала — спицы мелькали, — и я подумала про тётю Раю с её бесконечным носком, и стало мне тепло и немножко смешно.

На моей Конаковской станции мороз сцапал меня в горсть сразу, едва я выскочила на платформу. Воздух пах берёзовым дымом из чьего-то двора и чуть-чуть — снегом; у нас в последние дни подтаивало, и теперь, к вечеру, подмёрзшая корка похрустывала под ногами вкусно, по-зимнему, как сахарная глазурь на прянике. Я шла вприпрыжку, как первоклашка с каникул, и плевать мне было, как это смотрится со стороны: на нашей улице в этот час всё равно ни души, только фонари да чьи-то занавески, за которыми мерцают синим телевизоры.

Зиму у нас в Конакове я любила какой-то отдельной любовью. Это в Москве зима — слякоть, реагенты да серое небо в клеточку между домами. А дома зима была настоящая: чистый снег по пояс, синие тени от заборов, дым из труб и тот особенный скрип под валенками, по которому я и с закрытыми глазами узнала бы родную улицу.

По субботам папа топил баню — целый ритуал, священнодействие, в которое мама не вмешивалась. Я застала ещё то, старое, дровяное счастье: жар, от которого темнеет в глазах, мамин запаренный веник, прыжок в сугроб с воплем на всю округу — и обратно в пекло; а потом чай с малиновым вареньем на остывающей веранде, и так хорошо, так бессмысленно хорошо, что хоть плачь. На Новый год мама вырезала из бумаги снежинки и клеила на окна — учительская привычка, ровненькие, симметричные, — а папа притаскивал из лесу ёлку, которую выбирал по полчаса, придиричиво, как невесту.

Всё это — скрип снега, запах веника, бумажные снежинки на стекле — потом не раз меня держало. Потому что в трудную минуту держишься ведь не за великое. Держишься за любимое и родное. За то, к чему очень хочется вернуться.

Конаково моё — городок из тех, что на карте обозначают самой мелкой точкой, а в жизни умещает целый мир. Стоит он на Волге, при ГРЭС, и всё в нём подчинено двум вещам: реке и заводу. Летом — рыбаки, лодки, загорелые пацаны сигают с мостков; зимой вот это всё: дым из труб столбом, бельё на морозе колом, и тишина такая, что слышно, как под валенками поскрипывает.

Меня тут знала каждая собака — в прямом и переносном смысле: я с детства всех дворовых подкармливала, в маму, видать, жалостливую. Идёшь по улице — и через каждые десять метров: «Любка! Никак из Москвы? Мать-то как? Кланяйся!» Тётя Зина у магазина, дядя Фёдор с почты, бабки на лавочке, считывающие прохожих почище любого моего дара. В таком городке не спрячешься и не соврёшь: тут все про всех знают на три поколения вглубь — кто чей, кто в кого, кто что. В детстве меня это бесило: ступить нельзя, чтоб к вечеру вся улица не обсудила. А теперь, приезжая из Москвы, где можно год прожить на лестничной клетке и не узнать соседа в лицо, я переоценила это тёплое всеобщее «свой». Когда тебя знают с пелёнок — это, оказывается, не слежка. Это что-то вроде большой, ворчливой, лезущей не в своё дело родни.

Наш дом стоял в конце улицы, и я увидела его, как всегда издалека, по одной-единственной примете: в кухне горел свет. И это значило всё сразу. Что мама дома. Что она уже не первый раз поглядывает на ходики. Что на плите что-то млеет, а в духовке что-то доходит до ума. Что через минуту я толкну дверь — и в нос мне ударит тот самый запах, тёплый, мучной, ванильный, которого нет больше нигде на свете, кроме как за этой дверью, и который я узнаю даже с завязанными глазами, хоть разбуди меня среди ночи.

Я взбежала на крыльцо, дёрнула дверь — не заперто, меня ждали. У нас всегда не заперто, когда ждут, — и заорала в тёплую глубину дома, как Тарзан в джунгли:

— Ма-ам! Я приехала! И жутко по вам соскучилась!

Из кухни высунулась мама — в фартуке, в муке по локоть, с прилипшей ко лбу прядью и с тем особенным лицом, с каким встречают только своих и только тех, по кому правда скучали, а не для приличия.

— Здравствуй, студентка. Руки мыть — и за стол. Всё стынет, я уж три раза подогревала.

«Студентка» в мамином исполнении — это не ругательство, но и не орден. Это, я бы сказала, диагноз с уточнением. В одно слово она умудряется упаковать и гордость, и лёгкую подначку, и память о том, как эта самая студентка в прошлый приезд перепутала в её фирменном тесте соль с сахаром, после чего пироги пришлось скармливать соседскому псу, а пёс, между прочим, тоже отказался и обиделся.

Мама у меня — учитель русского и литературы, двадцать с лишним лет стажа. Она ставит ударения там, где положено, и слов-паразитов в её речи нет ни единого, хоть с лупой ищи. Мне их, между прочим, тоже не разрешали с детства — поэтому ругаюсь я исключительно про себя, зато виртуозно, как боцман на пенсии.

Я помыла руки (мыло у нас всегда земляничное, я его с детства нюхаю, как другие — валерьянку) и села за стол, который мама, пока я плескалась в ванной, успела накрыть так, будто ждала не одну меня, а делегацию голодающих с подшефного завода. Борщ. Котлеты — горкой. Салат. Соления из погреба. Хлеб трёх сортов. И — в отдельной мисочке, под полотенцем, как реликвия в музее, — пироги. С черникой и с капустой. Я устала на них с тем благоговением, с каким нормальные люди смотрят на полотна великих мастеров в Третьяковке. Великие полотна, при всём моём уважении, никогда так не пахли. И к чаю их не подашь.

Мама у меня вообще из тех, кто любит молча и делом, а не словами. За всю жизнь я от неё «люблю» услышала, может, раза три, по большим праздникам. Зато любила она меня иначе: вставала в пять, чтоб напечь мне в дорогу; гладила школьную форму так, что о стрелки можно было порезаться; за двоюродную тётку, посмеившую при мне ляпнуть про «ведьмин глаз», перестала здороваться на много лет — насмерть, по-учительски, на принципе.

В детстве я её немножко боялась — строгая, не забалуешь. А лет в пятнадцать вдруг поняла, что вся эта строгость и есть любовь, только в неудобной упаковке. Что, поправляя мне в сотый раз «звонИт, а не звОнит», она не придирается — она вооружает. Даёт единственное, что может дать против большого жестокого мира: правильную речь, прямую спину и привычку не реветь при посторонних. Оружие небогатое. Но другого у неё не было, а это она наточила мне на совесть.

— Мам, ты опять напекла на роту солдат.

— На дочь, — невозмутимо поправила мама, подкладывая мне вторую котлету, хотя я ещё и первую не тронула. — Тебя там в общаге, я подозреваю, кормят чаем да амбициями. Ешь давай, на тебе же лица нет, одни глаза остались.

Возразить было нечего. По сути — чистая правда, кроме разве что чая; чай у нас в общаге тоже по праздникам.

Пироги у мамы были отдельным языком, на котором она говорила то, чего не умела сказать словами. Не пекла она, только когда сильно болела или сильно обижалась, — и по тому, что стояло на столе, я с детства читала мамино настроение вернее любого барометра. Капуст-

ный пирог — всё спокойно, будний день. Пирожки с повидлом — мама в хорошем расположении духа. А вот если на столе появлялся её фирменный, с яблоками и корицей, на который уходило полдня и от которого весь дом пропитывался запахом так, что соседи вздыхали, — это означало праздник. Или приезд дочери. Или что мама хочет о чём-то поговорить и не знает, как начать.

Жили мы, что греха таить, бедно — весело, но бедно. Стипендии хватало ровнёхонько до того радостного дня, когда её выдавали, и ещё дня на три после. Дальше начиналась, как мы это звали, «эпоха позднего печенья»: рацион сужался до чая, серого хлеба и того самого печенья «К чаю», которое к концу месяца становилось основой пищевой пирамиды, валютой и поводом для философских бесед. Мы знали в лицо все акции в окрестных магазинах. Умели растянуть одну пачкупельменей на четверых так, что Иисус с его хлебами нервно курил в сторонке. Маринка вела учёт общему долгу до стипендии в той же своей тетради, отдельной графой. Но вот что удивительно — голодно нам почти не было. Потому что был у нас обмен веществ молодости и закон общажного коммунизма: у кого есть — у того едят все.

Мама присылала мне с оказией банки варенья и пироги — и они немедленно делались общими, делились на четверых до последней крошки под Светкин аккомпанемент: «Любкина мать — святая женщина, передай, мы её обожаем». У Наташки водились тульские пряники. У Маринки — посылки с салом, которое она резала всем с какой-то крестьянской торжественностью. Так и выживали: в складчину, в обнимку, на одной пачке печенья и общем хохоте.

Я уже подносила ко рту первую котлету, предвкушая встречу двух родственных душ, когда сзади меня кто-то облапил, и над самым ухом проехали колючие усы.

Я взвизгнула, как поросёнок, чуть не выронила вилку и тут же расхохоталась.

— А со мной, значит, здороваться будем по остаточному принципу? — пробасил папа, разворачивая меня за плечи к себе.

— Папка! Я не слышала, как ты вошёл!

— Никто не слышит, — сообщил он с законной гордостью, усаживаясь напротив и занимая собой сразу пол-кухни. — В этом весь и фокус.

Если мама любила пирогами, то папа любил молотком. У него вечно было что-нибудь починено, подкручено, усилено: скрипнула дверь — к вечеру смазана; зашаталась табуретка — на завтра как новая; я обмолвилась, что в общаге дует из окна, — и он на следующих выходных, ни слова не говоря, привёз и приладил мне уплотнитель, хотя рама была не наша, казённая. Он не умел сказать «я за тебя волнуюсь» — он приезжал и чинил то, что можно починить руками. Чинил мир вокруг меня, раз уж саму меня от мира защитить не получалось. Любовь ведь почти никогда не звучит как «люблю». Чаще она звучит как «надень шапку», «я тебе там денег положил», «дай гляну, что у тебя с замком». Её надо просто уметь расслышать в этом бытовом бурчании.

Папа у меня большой, основательный, как комод, с руками-лопатами, на которых старые шрамы от работ, про которые он не любит распространяться. Двадцать лет за баранкой фуры научили его всему на свете, кроме одного — входить в дом так, чтобы домашние не подскакивали до потолка. В кармане у него вечно складной нож — «мало ли», а на торпеде в машине — иконка Николая Чудотворца, которую мама всунула ему лет десять назад со словами «вози и не спорь». Папа и не спорил. С мамой вообще спорят только те, кто с ней плохо знаком.

В детстве папа иногда брал меня с собой в недалекие рейсы — на выходные, по маминему недовольному разрешению. Это было лучшее, что я знала. Огромная кабина, в которой я тонула, как горошина в кастрюле; высоко-высоко над дорогой, выше всех легковушек; термос с чаем, бутерброды в фольге — и папа рядом, спокойный, уверенный, хозяин этого режущего железного зверя. Он показывал мне дорогу как живую: вот тут гаишники любят прятаться, вон там кафешка, где кормят по-человечески, а вон того, в красной фуре, знаю — Серёга из Рязани, хороший мужик, посигналим.

Был у папы в Москве свой человек — дядя Коля, старый кореш по рейсам, с которым они лет десять колесили по одной трассе. Дядя Коля давно развёлся, устроился в охрану, осел в столице и купил квартиру на Юго-Западе — всего в пятнадцати минутах ходьбы от моей общаги. Когда рейс заносил папу в Москву, ночевал он не в кабине, а у дяди Коли, в его холостяцкой берлоге. «Душевнее», — говорил папа. И выходило, что в столице он бывал куда чаще, чем мне бы того хотелось, а до моего РУДН от дяди Колиной квартиры было рукой подать. Практически в зоне поражения.

— Ну, докладывай, — сказал он, беря себе хлеба. — Как там наука? Не отчислили ещё нашу гордость?

— Пап, я отличница.

— Так гордости и отчисляют первыми. За принципиальность. — Он подмигнул. — Ешь, ешь. Мать старалась.

Ужинали мы долго и со вкусом. Говорили обо всём сразу, перебивая друг друга, как и положено в семье, которая всю неделю копила темы. Про мою учёбу (отлично, хоть и опоздала сегодня, о чём я благоразумно умолчала). Про Ивана Даниловича — папа уважительно покрутил головой, услышав про «Беломор» и двадцать лет в газете: «Серьёзный, видать, дед, такие зря не курят». Про маминых учеников: один написал в сочинении, что Печорин — «жертва токсичных отношений с обществом», и мама вторые сутки не могла решить, ставить ему два за наглость или пять за нахальную свежесть мысли.

— Поставь четыре, — посоветовал папа. — И припиши на полях: «Лермонтов в гробу перевернулся, но аккуратно».

Родители мои — пара, на которую в нашем городке поначалу делали ставки, сколько продержатся. Учительница русского, вся из книжек и правильных ударений, — и дальнобойщик, который три класса осилил, а дальше «дорога научила». Мезальянс, поджимали губы тётки на нашей улице. Не пара.

А они взяли и прожили двадцать с лишним лет — и были, по-моему, счастливы той тихой, неброской счастливостью, которую со стороны и не разглядишь. При мне почти не обнимались, не сюсюкали, «люблю» друг другу, кажется, не говорили вовсе. Зато папа, вернувшись из рейса, первым делом нёс маме с дороги какую-нибудь ерунду — то калужское печенье, то магнетик, то банку варенья от незнакомой бабки с трассы. А мама, которая в жизни не повысила голоса на ученика, на папу могла и прикрикнуть — но клала ему добавки так, что мне всё было ясно: вот она, любовь, просто на их языке, без слов.

И только одно я иногда ловила — мельком, краем глаза. Что временами между ними проходило что-то, чего я не понимала. Мама вдруг замолкала на полуслове, а папа клал ей на плечо свою лопату-ладонь — коротко, тяжело, будто говорил: «я помню. я рядом». И оба смотрели куда-то мимо меня, в общее своё прошлое, в которое меня не пускали. Я думала — взрослое, скучное, про деньги или родню.

Пужинав мы перебрались в зал, к камину, который папа сложил своими руками сто лет назад и которым гордился, как иные гордятся золотой медалью. Я завалилась на медвежью шкуру — старую, лысоватую, выдавшую виды, привезённую папой из какой-то давней поездки, но всё равно мою любимую с пелёнок. Лежала, смотрела в огонь и слушала, как трещат дрова, как мама тихо звякает спицами (вяжет вечно что-то бесконечное, не то шарф, не то удава), как папа шуршит газетой и время от времени неодобрительно крякает на какую-нибудь статью. И в какой-то момент я поймала их на переглядывании. Знаете этот родительский взгляд? Когда двое взрослых людей смотрят друг на друга поверх твоей головы, и в этом взгляде — целый заговор, к которому тебя пока не подключили, но вот-вот. Папа мне ещё и подмигнул — совершенно по-мальчишески, будто это не он минуту назад крякал над статьёй про тарифы ЖКХ.

Я приподнялась на локте со шкуры.

— Та-ак. Вы чего это?

— Ничего, — ответили родители. Хором.

А хором у нас в семье отвечают только в двух случаях: когда врут и когда что-то затевают. Чаше — оба сразу. Я бы непременно насторожилась и устроила допрос с пристрастием, если бы не была такой разморённой, сытой и сонной, что веки слипались сами. А так — я только зевнула во весь рот, потянулась до хруста, как кошка на солнце, и махнула рукой: разберусь с этим заговором завтра. А ведь я даже не помнила, какое завтра число.

Утром меня разбудила тишина — но на этот раз не страшная, общажная, а домашняя, ленивая, как разъевшийся кот на тёплой печи. Я полежала, послушала, как тикают на кухне ходики да капает с крыши оттаявшая сосулька, и сообразила, что в доме я одна.

На столе ждала записка маминым каллиграфическим почерком — мама даже список покупок пишет так, будто это страница из школьных прописей: «Уехали по делам. Сырники под полотенцем, ещё тёплые. Чай не остыл. Не съешь все разом». И ниже, помельче: «С добрым утром, солнышко».

«По делам». В девять утра в субботу. Это в нашем-то городке, где главное субботнее дело — выспаться да обсудить через забор, чьи соседи опять не чистили снег.

Я налила чаю, утянула из-под полотенца сырник — мама как чувствовала: «не съешь все» действует на меня ровно как боевая команда «фас», — и от нечего делать скользнула взглядом по календарю на стене. И поперхнулась. Чаем и сырником разом.

Кашляла я долго, со слезой и подвыванием, согнувшись над столом в три погибели. А когда отдышалась и проморгалась — сидела и тупо пялилась на красный кружок, которым мама заранее, с любовью, обвела сегодняшнее число. Двадцать второе. Моё. У меня сегодня день рождения.

Нет, вы вдумайтесь. Девятнадцать лет человеку. Отличница, гордость курса, будущий, не побоюсь этого слова, инженер человеческих душ с дипломом журфака. И этот человек узнаёт о собственном дне рождения из настенного календаря — как о смене фаз луны.

«Ну ты и фрукт, Любовь Михайловна, — сказала я себе. — Заячья твоя голова».

Обижаться на собственную память было бессмысленно, и я выбрала путь поконструктивнее — кулинарный. Раз родители расстарались с подарком (а они расстарались, иначе зачем «по делам» в девять утра?), то и я не лыком шита. Закатала рукава и устроила трудовой подвиг: накрутила два салата, замариновала курицу «как мама» — на глаз, с молитвой и надеждой на лучшее, — начистила гору картошки и запихнула всё в духовку. К возвращению родителей я стояла посреди накрытого стола гордая, как Гагарин после приземления.

Они ввалились с мороза румяные, перешёптывающиеся, с пакетами, которые папа неловко прятал за спину — так неловко, что было видно ещё из коридора.

— О, — сказал папа, потянув носом. — Никак дочь нашлась. Настоящая. А то приехала вчера тень бледная, я уж перепугался.

— С днём рождения, солнышко. — Мама поцеловала меня в макушку и тут же, не удержавшись, поправила сбившуюся на столе скатерть. Учитель — это диагноз, его в отпуск не отправившь. — Сама всё сготовила?

— Сама.

Мама подцепила вилкой салат, попробовала.

— Соли многовато.

— Мам!

— Что «мам»? Я ж любя. — Она улыбнулась. — Молодец. Хозяйка растёт.

Я торжественно решила услышать вторую половину фразы и пропустить первую.

А потом начались подарки — и тут я наконец поняла, по каким таким «делам» с утра моталась моя конспиративная семейка. Папа с видом фокусника, достающего из шляпы кролика, водрузил на стол коробку, упакованную так старательно, что разворачивать было почти совестно. Почти. Бумагу я ободрала за три секунды. И онемела.

Ноутбук. Новый. Не потёртая «бэушка» с «Авито», на которую я тайком облизывалась по ночам, а настоящий, в плёночке, пахнущий магазином и взрослой, серьёзной жизнью.

— Мам, пап... да вы что... он же дорогуший, я же не просила...

— А ты на «Авито» вкладки закрывать научись на моём компьютере, — невозмутимо посоветовал папа. — Конспиратор из тебя, дочь, как из меня прима-балерина Большого театра.

— Я думала, ты не заметишь...

— Я дальнотойщик, Люба. Я двадцать лет на дороге замечая всё, что движется и что не движется. А тут десять открытых вкладок с ноутбуками и в голове крупными буквами «ну пожалуйста». Шерлок Холмс, не меньше.

Мама тем временем достала два пакета. В большом — сумка для ноутбука, в маленьком — модем, чтобы я выходила в интернет по-человечески, а не ловила чужой вайфай по углам общаги, как кошка сквозняк.

И вот тут я, к собственному стыду, разревелась. Над модемом. Честное слово — рыдала над коробочкой с модемом, как над женихом, уходящим на фронт. Но слёзы были хорошие, тёплые, от которых внутри не стынет, а наоборот.

— Ну всё, всё, — папа стрёб меня в охапку, и усы зашевелились ухом. — Реветь будем потом. Сейчас есть будем. Дочь полдня у плиты стояла, хоть и пересолила.

— Па-ап!

Мама подошла, вытерла мне щёки большим пальцем — строго, по-учительски, и сразу нежно, по-маминому, два движения в одном, она так умеет, — и вдруг задержала мою руку в своей чуть дольше, чем нужно. Просто подержала. И посмотрела так, будто на языке у неё вертелось что-то ещё, важное, но она в последний миг проглотила.

— Ты чего, мам?

— Ничего, — сказала она. — Большая ты у меня. Совсем большая стала.

Я тогда не придавала этому значения — мало ли что взбредёт маме в голову в день рождения единственной дочери. Села за стол, и мы ели мою пересоленную курицу, и смеялись, и было так тепло, что хотелось остановить эту минуту и поселиться в ней навсегда.

Ноутбук сожрал у меня весь остаток субботы и всё воскресенье, целиком, как новая игрушка сжирает ребёнка. Я ставила программы, тыкала во все кнопки подряд и чувствовала себя космонавтом перед стартом. К вечеру воскресенья я знала про этот аппарат больше, чем про некоторых соседок по комнате, с которыми делю кров полтора года, — что, если вдуматься, характеризует скорее соседок.

А в субботу вечером, когда мама нагремелась на кухне и ушла спать — она у нас ложится рано, по-учительски, «завтра рано вставать», хоть какое там вставать, воскресенье на дворе, — мы с папой остались вдвоём у камина. Бывало это нечасто. Папа дома гость редкий: то Питер, то Ростов, то ещё какая дорога съедает его на неделю-другую. И когда он дома, я стараюсь не растерять ни одного такого вечера — сижу рядом, как в детстве, на медвежьей шкуре, и пялюсь в огонь.

Папа подкинул полено, поворошил кочергой — обстоятельно, как всё, что делает руками, — и долго молчал. Потом сказал, не глядя на меня, в самый огонь:

— Ты там это... в Москве-то. Поздно одна не ходи.

— Пап, я в общаге живу. Мне до корпуса семь минут.

— Семь минут — тоже дорога, — сказал он. — А на дороге всякое.

Я хотела отшутиться — мол, что у нас за дорога, через пустырь да мимо вахтёрши тётки Раи с её злой собакой, — но папа смотрел в огонь так, что шутка сама завяла у меня на языке.

— Я ж вожу, дочь, — сказал он. — Столько лет баранку кручу. И навиделся на трассах такого, что тебе и в страшном сне не приснится. Знаешь, сколько баб голосует на ночных обочинах? Замёрзшие, усталые, домой хотят. И садятся к первому, кто притормозит. К любому. Потому что холодно, поздно и сил нет.

Он помолчал, глядя, как занимается полено.

— А я вот притормаживаю — и везу. Бесплатно, до поворота, куда надо. Знаешь почему? Потому что каждый раз думаю: а ну как это моя Любка где-то так же стоит на ветру. И дай бог, чтоб ей попался такой, как я. А не такой, как... — Он не договорил. Поворошил угли. — В общем, так. Не садись никогда к чужому в машину. Что бы ни стряслось. Лучше пешком, лучше замёрзни, лучше мне позвони среди ночи — приеду, хоть из Ростова приеду. Но к чужому — ни ногой.

— Да куда я сяду, пап, — отмахнулась я. — У меня и на такси-то денег отродясь не водилось.

— Я серьёзно, Люба.

— Поняла я, поняла. Не сяду.

В тот вечер слова про чужую машину были просто словами: у тёплого камина, на сытый желудок, когда смерть случалась только в новостях и только с чужими. Папа кивнул, вроде успокоенный, и потрепал меня по макушке своей ручищей — так, что я чуть носом в шкуру не уехала.

— Вот и умница. Иди спать. А то мать утром обоих за полуночиество съест, и меня первого.

Уже перед самым отъездом мама попросила занести книжку — ту, что я обещала Маринке; она лежала в моей старой детской, на верхней полке. Я зашла, привстала на цыпочки, не достала и оперлась рукой о стену — чтобы не сверзиться с табуретки.

И вдруг вспомнила. Не знаю почему именно тогда. Может, потому что всё осталось почти таким же. Те же скрипучие половицы, тот же угол, те же обои в мелкий цветочек. Иногда память работает странно: годами молчит, а потом вдруг выдаёт прошлое целиком, будто кто-то подул на старую фотографию и стёр с неё пыль.

Мне было лет десять. Я сидела на этой самой кровати, подтянув колени к подбородку, и редела — тихо, давясь, в подушку, чтобы за дверью не услышали. В тот день девчонки в школе объявили, что у меня «глаз ведьмин», что водиться со мной нельзя — а то «перекинется», как корь. Бойкая Ленка Сорокина демонстративно отсела от меня к окну и весь день тыкала пальцем. Я пришла домой, заперлась и весь вечер прижимала к левому глазу ладонь — крепко, до искр, — будто его можно выкрутить, как перегоревшую лампочку, и выбросить.

А за дверью стояла мама. Вот этого я тогда не поняла. Только сейчас вспомнила. Шаги в коридоре. Как они дошли до моей двери и остановились. Как тихо скрипнула дверная ручка. Как мама постояла несколько секунд и ушла, не войдя.

Тогда мне казалось — просто не до меня. У взрослых своих забот хватает. А теперь, спустя столько лет, я вдруг поняла, что это было. Не безразличие. Вина. Тяжёлая, взрослая вина человека, который знает причину чужой боли и не может её объяснить.

Я сняла руку со стены. Комната качнулась и встала на место.

— Хорош дом, — пробормотала я себе под нос.

Девять лет молчал, а потом вдруг всё напомнил. Наверное, дома для того и нужны. Хранить за нас то, что мы сами от себя прячем по дальним полкам. А потом возвращать в самый неподходящий момент.

Иногда я думаю, что любой нормальный человек на моём месте давно бы свихнулся. Серьёзно. Город старый, народу за века перемёрло — прорва, ступи куда угодно, кто-нибудь да умирал. По такой логике мне и шагу нельзя ступить без компании покойников. Но нет. Приходят не все. Те, кто умер от старости, болезни, несчастного случая или любой другой беды, где никто не хотел их смерти, — не приходят. Им до меня нет дела, а мне до них хода. Приходят только те, у кого жизнь отняли. Внезапно, в ужасе, в ту секунду, когда человеку по-настоящему: «Не надо. Не хочу. Пожалуйста». Да и те — не сами и не как попало. Нужна зацепка. Нужно, чтоб я за них зацепилась наяву: узнала имя, подержала их вещь, постояла там,

где их видели живыми в последний раз. Дёрнула за ту ниточку, что от них осталась. Вот тогда дверь приоткрывается. А без ниточки она закрыта, и за ней тихо.

Кстати, про места, которые молчат. А как же морг? Там же столько смертей, там же должно тебя на части разрывать. А вот и нет. Морг для меня — одно из самых тихих мест на свете. Пусто — ни единого гостя. Потому что в морг привозят тех, для кого всё уже закончилось. А ужас остался там: в тёмном переулке, в пустом подъезде, в чужой квартире, где человек осознал, что помощи не будет. Ну а тело — это просто тело. Пустышка. Помнит не тело — помнит место, где человеку было страшно.

И приходят они не наяву. Наяву я обычная: мёрзну на остановках, ржу со Светкой, плююсь в конспект. А когда засыпаю — дома, в электричке, в метро, всё равно где, — вот тогда и приходит тот, за кого я зацепилась. Не призрак с цепями, упаси боже. Приходит, как во сне приходят свои: что-то показывают, куда-то ведут. И сны эти бывают последовательными, а бывают обрывистыми. Что-то ясно, что-то загадкой — поди разбери. Сон же. А сон, как известно, врать горазд. Потому и перчатки на мне круглый год — не от холода и не от брезгливости. Это засов. Чтоб не зацепиться нечаянно, не подержать голой рукой чужую беду и не отворить себе на ночь ту дверь, в которую полезет, кого я не звала. Открываю сама — когда решусь. А решаюсь редко: за каждого пришедшего плачу носом да болью за левым глазом. Не деньгами.

И ведь что обиднее всего — сон почти никогда не выдаёт чистого, годного. Дар мне достался не справочное бюро: где Светка заиграла мой фен, кто стащил из сушилки колготки, какой билет выпадет на экзамене — про это мёртвые молчат, им не до моих фенов. Приходят только страшные и приносят только своё страшное — да и то обрывком, ребусом, который я потом неделю разгадываю по диктофону. А счёт всё равно полный: кровь из носа, голова пополам.

А ещё, сколько себя помню, при мне было одно тихое чувство, к которому я так привыкла, что и за чувство-то его не держала. Будто кто-то стоит чуть позади, у левого плеча. Не страшно — наоборот, спокойно: так в детстве знаешь, что в соседней комнате мама. Иногда это «кто-то» словно подсказывал сбоку: не ходи туда, позвони домой, оглянись. Я звала это чуйкой и валила, как водится, на бабу — деревенская кровь, знающая порода, что с меня взять. А что у пустого левого плеча, может случиться, есть собственное имя, мне за девятнадцать лет ни разу не пришло в голову.

Сказать по правде, в детстве я и не знала, что со мной что-то не так. Точнее — знала, что не как все, но за беду это не держала. Беда — это когда тебе плохо. А мне было... нормально. Даже когда «глаз ведьмин», даже когда Ленка Сорокина отсела к окну и к концу четверти за мной не осталось ни одной подруги — мне было не так одиноко, как полагалось бы девочке без единой подруги. Потому что у меня всегда был кто-то ещё.

Не воображаемый друг — я и слова такого тогда не знала. Просто кто-то. Тёплый, у левого плеча. Я с ним делилась. Тихо, под одеялом, рассказывала, как прошёл день, кто меня обидел, что задали по природоведению. Не громко вслух, а так тихо, почти про себя, как разговаривают сами с собой все на свете, только я почему-то была твёрдо уверена, что меня слышат. И, главное, отвечают — не словами, а тем тёплым, что отзывалось внутри, когда я была права, и поджималось, когда привиралась.

Взрослые от этого моего «кого-то» делались странные. Мама однажды застала меня за этими разговорами — мне было лет шесть — и застыла в дверях с тарелкой в руках, и лицо у неё сделалось такое... я тогда не поняла какое. А папа просто крикнул и спросил: «С кем болтаешь, партизанка?» — и я честно ответила: «Не скажу. Военная тайна». И мы оба захохотали, и тарелка вернулась на стол, и больше в семье про это не заговаривали. У нас вообще про многое было заведено не заговаривать. Традиция такая, фамильная: молчать о главном и печь пироги.

Я выросла и решила, что это просто детское — ну, навоображала себе компанию, все одинокие дети так делают, а после перерастают. Вот и я, мол, переросла. Только оно никуда не делось. Притихло, ушло вглубь, прикинулось «чуйкой» да «интуицией» — удобными взрослыми словами, под которыми так спокойно прятать то, чему не знаешь имени.

Я умылась, спустилась вниз и сделала вид, что всё путём. Это я умею на твёрдую пятёрку — за полтора курса в общежитии да за всю жизнь с таким глазом я выучилась притворяться лучше иной народной артистки.

Провожали меня всем личным составом.

— Варенье возьми. — Папа сунул в сумку банку. — В общежитии вы, поди, сахар вприглядку едите.

— А пирожки куда дела? — Мама обнаружила пропажу контейнера. — Любовь, ты опять уедешь голодная.

— Мам, я их уже положила.

— Сверху положи, а то раздавишь. И шапку надень, не март на дворе.

Мелочь, ерунда, обычная семейная возня на пороге. Но на этой возне, как на трёх китах, держится весь мир. Только не все это понимают и не сразу.

А на самом пороге, уже застёгивая на мне куртку под горло, как маленькой, мама вдруг придержала меня за плечи. Чуть дольше, чем нужно. Второй раз за выходные. Посмотрела мне в оба глаза — прямо, в упор, не отводя, чего почти никто не делает, — и тихо сказала:

— Береги себя там. Слышишь? Просто... береги.

— Мам, я в общежитии еду, а не на передовую, — фыркнула я.

— Знаю, — сказала она. — Всё равно береги.

И улыбнулась. Но как-то не до конца, краешком. А я уже сбегала с крыльца, на ходу махала рукой, торопилась на электричку — и не оглянулась.

В общежитии — в наш РУДН на Юго-Западе, где два десятка корпусов и общежития жмутся друг к другу на одной длинной улице, оттого и до пар семь минут пешком, — я вернулась в воскресенье к ночи, гружёная, как ишак на горном перевале: сумка с бельём, контейнер с пирожками, банка варенья, ноутбук и модем — всё моё новообретённое богатство.

Тётя Рая оглядела мой обоз и вынесла приговор: «Не студентка, а верблюд с журфака». Обидно. Но по существу.

Я поднялась на свой этаж и едва сунула ключ в замок, как дверь распахнулась изнутри, и на меня обрушилась Светка.

— Любка! Наконец-то! Ты не представляешь, что было!

— Дай хоть разуться, — взмолилась я, протискиваясь боком в комнату вместе со всем обозом.

— Новости как же?

— Потом, Свет, всё потом, дай хоть выгрузиться, — я свалила обоз на кровать, и комната тут же занялась любимым делом — дележом. Варенье Светка учуяла раньше, чем я опустила сумку. — Девки! Любкина мать прислала варенье! — возвестила она так, будто объявляла посадку на последний рейс, мигом забыв, что секунду назад рвалась мне что-то рассказать. — Любкина мать святая женщина. Я за неё свечку поставлю, как только узнаю, в какой церкви берут за абрикосовое.

Банку вскрыли со скоростью, с которой даже истребители не летают. Я не возражала: у нас закон простой, чище любого кодекса, — у кого есть, у того едят все. Сегодня варенье моё, в четверг сало Маринкино, а к двадцатым числам у всех поровну: чай да печенье «К чаю», которое к концу месяца перестаёт быть едой и делается валютой, религией и поводом для долгих прений о справедливости.

— Наташ, по картам-то стипендию дадут? — спросила я, кивнув на её вечный пасьянс. — Карты говорят, что я дура и зря спрашиваю, — мрачно отозвалась Наташка, перевернув

даму пик. — Дадут. Третьего. А к десятому от неё останется одно философское смирение. — «Третьего, — не поднимая головы, прочла вслух Маринка из своей клеёнчатой тетради. — Наташка нагадала стипендию. Записала — предъявить картам, когда наврут». — Ты и это записываешь?! — возмутилась Наташка. — Я всё записываю, — невозмутимо сказала Маринка. — Память дырявая. Тетрадь — нет.

Я стянула наконец сапоги, вытянулась на своей кровати — и впервые за весь этот гружёный день отпустило. Вот оно, моё второе счастье после маминой кухни: четыре кровати, одна розетка на всех, ноль личного пространства — и три человека, при которых можно молчать, и это ни капельки не неловко. Светка, правда, молчать не умела физически — и явно лопалась от своей новости, как сосиска, забытая в микроволновке.

Светка — это наше общажное радио. Точнее, информационное агентство полного цикла: она и собирает новости, и обрабатывает, и выдаёт в эфир, причём со скоростью, рядом с которой телеграф нервно курит в сторонке. Родом из Калуги, учится на филфаке, красится даже на восьмичасовую пару — я подозреваю, что и спит она накрашенная, на случай внезапной сенсации.

Влюблялась Светка с регулярностью смены времён года и с той же неотвратимостью. За полтора курса я насчитала у неё штук двенадцать «любовей всей жизни», и каждая была окончательной, роковой и непременно несчастной. Был Денис с журфака, который «посмотрел — и всё понял». Был Артём с экономики, который «не посмотрел, и это тоже знак». Был аспирант с военной кафедры, женатый, отчего история приобретала особо трагический накал. Был, прости господи, даже наш физрук — но это уже на почве сессионного помешательства, мы условились не считать.

Каждый роман шёл по одному отлаженному сценарию, точному, как заводской конвейер: бурное начало («Любка, это ОН»), драматическая кульминация (он не так посмотрел / не то написал / посмотрел не на ту) и катарсис в виде ночного рыдания в подушку, заедаемого, между прочим, моими печеньками. На третий день Светка воскресала, как феникс, объявляла, что «все мужики козлы, кроме моего будущего мужа, которого я ещё не встретила», — и отправлялась высматривать тринадцатую любовь всей жизни.

Я над ней ржала, конечно. Но втайне завидовала. Потому что Светкины трагедии были нормальные, человеческие, тёплые — из тех, что через неделю забываются. А я в свои девятнадцать видела мертвецов во снах, которым от меня что-то было нужно и не могла рассказать о них ни одной живой душе. Я бы, честно, многое отдала, чтоб моей главной бедой был Денис, который не так посмотрел.

Наташка, наша тульская, сидела на кровати по-турецки, в окружении карт, разложенных каким-то хитрым веером.

— О, изгнанница вернулась, — не отрываясь от карт, протянула она. — Тихо, не дыши. Гадаю, какой билет на физике попадётся.

— И как, выпадает?

— Выпадает, что я дура и надо было учить, — мрачно сообщила Наташка и смешала колоду.

Наташка была основательная, ширококостная, с прямоотой, об которую можно было порезаться. Картам своим она верила свято и при этом ни на грош: гадала на всё подряд (на билеты, на парней, на погоду), результаты выходили неизменно мрачные, и она их неизменно игнорировала. «Карты врут, — объясняла она философски, — но красиво». В Тулу к себе ездила раз в месяц, привозила оттуда пряники размером с лапоть и истории про родню, в которых фигурировали бесконечные дяди Коли, тёти Любы и какой-то двоюродный Толик, вечно попадавший в комические катастрофы.

Под этой тульской толстокожестью, однако, пряталось самое доброе сердце в нашей комнате. Наташка вообще была из тех людей, рядом с которыми почему-то становилось легче,

даже если они ничего особенного не делали. Это она без лишних разговоров отдавала мне последнюю сотню до стипендии. Она молча подвигалась на кровати, освобождая место рядом, если видела, что кому-то плохо. Она не лезла в душу, не требовала рассказов и не утешала заготовленными словами. Просто садилась рядом и брала за руку своей крепкой крестьянской ладонью. И почему-то этого всегда оказывалось достаточно. Карты у неё, может, и ввали. А руки — никогда.

Я их всех любила какой-то особенной, отчаянной любовью и сама не понимала почему. Любила — впрок, про запас, как мама печёт пироги.

Маринка, вторая тульская, как всегда, что-то строчила в свою тетрадку — толстую, в клеёночной обложке, которую за полтора года я ни разу не видела закрытой надолго. Она вообще была у нас тёмной лошадкой. Светка — вся наружу, как распахнутое окно; Наташка — тоже понятная, с картами своими и тульской прямоотой. А Маринка — себе на уме. Тихая, неприметная, вечно с этой клеёночной тетрадью. Говорила мало, а смотрела много — и видела, я уверена, побольше нашего. Пока мы трещали, влюблялись, ревели и мирились, Маринка сидела в уголке и всё записывала: у кого новые серёжки, а денег вроде не было.

— Маринк, ты что туда вечно пишешь-то? — спросила я, скидывая сапоги. — Роман, что ли?

— Дневник, — буркнула Маринка, не поднимая головы.

— Про что?

— Про вас. — Она наконец оторвалась от тетради и глянула на меня поверх неё неожиданно остро. — Кто, когда, во сколько пришёл. Кто соврал, кто плакал. Память, Люб, штука дырявая, а бумага — нет.

— Зачем? — засмеялась я. Не от любопытства спросила даже, а так, по-журналистски, профессионально.

— А чтоб не ввали потом, — сказала Маринка спокойно, не отрываясь от строчки. — Память у людей удобная. Что хотят — помнят, что не хотят — забывают. А тетрадь не забывает. Тетрадь честная.

Я аж вздрогнула. Потому что это было слово в слово про моего папу с его летописью дорог. И, если совсем честно, про меня саму с моим даром. Выходит, нас таких на свете больше, чем кажется, — тех, кто не может пройти мимо и не записать. Папа писал дороги. Маринка писала общагу. Я — мёртвых. У каждого своя тетрадь, в которую он складывает то, что мир норовит забыть «за отсутствием события».

— Да хватит вам про тетрадки! — не вытерпела Светка. — У меня новость, а они про дневники. Любка, помнишь Лильку с твоего потока? Тошная такая, серёжки-гвоздики, из Балашихи?

— Помню. У неё ещё сестрёнка пропала недели две назад.

Я и правда что-то такое слышала краем уха ещё до выходных. Лильки несколько дней не было на парах, а как появилась — серая, что твоё ноябрьское небо, ни с кем не разговаривает. Я тогда подумала: ну мало ли, может, бывший её опять достаёт, Стасик этот. Лезть с расспросами было неловко.

— Так вот! — Светка сделала драматическую паузу, отработанную, я уверена, перед зеркалом. — Нашлась сестра!

Я выдохнула. Честно — с облегчением. Бывает же. Пропал человек, поволновались всем миром — нашёлся. Жизнь, в кои-то веки, со счастливым концом.

— Ну слава богу, — сказала я и потянулась расстёгивать сумку с одеждой. — Где была-то? Загуляла? К парню сбежала?

Светка как-то странно примолкла. И вот это была новость покрупнее любой её сенсации: Светка. Примолкла.

— Её в лесу нашли, — сказала Светка тихо, без всякого драматизма. — Под Балашихой. В снегу.

В комнате стало очень тихо. Так тихо, что я расслышала, как за окном капает с сосульки — кап, кап, — и звук этот показался неприлично громким и совсем не к месту.

— В смысле — в лесу? — глупо переспросила я, хотя всё уже поняла. У меня защитная реакция такая: когда внутри обрывается, рот по инерции уточняет очевидное, будто можно переспросить — и ответ окажется другим, добрым.

— В том самом смысле, Любк, — сказала Наташка и сгребла карты в кучу. Даже Маринка отложила тетрадь. — Замёрзла, говорят. Или...

Она не договорила, и это «или» повисло в комнате, как сквозняк. Сестрёнку той, с которой я здороваюсь в коридоре и которая была с моего потока, нашли в лесу. В снегу. Через две недели после исчезновения.

Легли поздно. Светка, наплакавшись, посапывала, Наташка во сне бормотала своё вечное «kozyрь крести», Маринка спала на спине, как солдат на посту. А я лежала, смотрела в потолок на знакомую трещину — не то Италия, не то спящая собака, это с какой стороны глядеть, — и потому не спала, когда в дверь тихо, костяшками, постучали.

Половина первого ночи. В общаге в это время стучат только по большой беде. Я открыла. В коридоре, под мигающей лампой, стояла Лиля. В куртке поверх пижамы, без шапки, в тапках на босу ногу — видно, выскочила из своей комнаты этажом ниже, не одеваясь. Лицо — такого лица у живого человека я до того не видела. Не заплаканное даже. Пустое.

— Лиль? Ты чего?

Она не ответила. Открыла рот — и закрыла. Будто пришла что-то сказать и по дороге растеряла все слова.

— Заходи, — сказала я. — Чего стоишь, заходи.

Я быстро оделась и отвела её в кухню в конце коридора, чтобы не будить девчонок, усадила на колченогий табурет, поставила чайник. Руки у неё были ледяные. Я сунула ей в ладони горячую кружку — не чай ещё, просто кипяток, — и она вцепилась в неё, как в спасательный круг, и наконец заговорила. Тихо, без слёз, ровным страшным голосом.

— Маму на опознание возили. Сегодня. А я не смогла. В коридоре осталась. Я даже в дверь не вошла, Люб. Какая ж я сестра после этого? Не смогла на свою Вику посмотреть.

Я не знала, что на это сказать. Никто не знает. Я просто села рядом и обняла её за плечи. И так мы сидели на казённой общажной кухне, под гудящей лампой, две девчонки, одной из которых только что подменили весь мир. А чайник всё закипал и закипал, щёлкал, выключался, и я грела ей вторую кружку, и третью, потому что больше ничем помочь не могла.

А потом, под гудящей лампой, на остывшем чае, Лиля вдруг стала рассказывать. Не про то, как нашли, не про лес, не про опознание — про это она как раз молчала. Она стала рассказывать про живую Вику. Будто, пока говорит, сестра ещё немножко есть.

— Ей четырнадцать было, Люб. Седьмой класс. Коса вот до сюда, она её то отрезать грозилась, то наоборот отращивала до пят, балда. — Лиля улыбнулась куда-то в стену, и от этой улыбки мне стало больнее, чем от слёз. — В ветеринары собиралась. Всех котов на районе знала по именам, домой тащила, мать выла. Подберёт какого-нибудь блохастого, забинтует и сидит над ним, лечит. Я ей: «Вик, это помойный кот, он тебя цапнет», — а она: «Лиль, он не помойный, он просто никому не нужный». В четырнадцать лет, представляешь? Умнее меня была.

Я молчала и слушала. Не перебивала, не утешала — просто не закрывала дверь, пока ей было что в неё внести.

— А боялась темноты, — продолжала Лиля тихо. — До сих пор... в четырнадцать, ночник у кровати держала. Стеснялась жутко, меня умоляла никому не говорить. — Она запнулась. — Вика с одноклассниками отмечала чей-то день рождения в кафе, а потом пошла ловить

такси, повздорив из-за ерунды с провожатым... Вот что у меня из головы не идёт, Люб. Что ей там, в темноте этой... в лесу... Она же темноты боялась. А я не уберегла. Старшая сестра, а не уберегла.

— Лиль, — сказала я. — Не надо.

— Знаешь, что я ей последнее сказала? — Лиля будто не услышала. — Она у меня кофту попросила, любимую мою, серую. А я пожадничала. «Своё носи, — говорю, — вечно ты мои вещи таскаешь». Из-за кофты. Из-за тряпки. И она ушла обиженная. И всё. Больше я её живой... — Голос у неё сорвался, и она договорила почти шёпотом: — Из-за кофты, Люб. Я ей кофту пожалела.

Я обняла её крепче и не стала говорить ни одной из тех гладких, правильных вещей, которые говорят в таких случаях, — что она не виновата, что никто не знал, что Вика на неё не в обиде. Всё это было бы правдой и всё это было бы пылью. Я просто обнимала её и молчала.

В ту ночь я поняла про себя одну простую, но важную вещь. До этого Вика была для меня «случаем». Страшным, чужим, но случаем. А теперь у неё были коса, помойные коты, ночник и серая Лилина кофта, которую ей пожалели. Теперь она была девочкой. И вот эту девочку кто-то посадил в тёплую машину, увёз в темноту, которой она боялась, и бросил в снег, как ненужную вещь. Как помойного кота. Только над ней некому было посидеть и забинтовать.

И я тогда решила — пусть неосознанно, пусть на одной злости и бессоннице, — что хотя бы узнаю до конца. Раз уберечь уже не вышло.

Хоронили Виду назавтра. Я отпросилась с пар. Иван Данилович, услышав куда, только кивнул и сказал негромко: «Иди». Без фирменного взгляда поверх очков. Он про смерть понимал больше нас всех — просто помалкивал.

День выдался из тех, что будто нарочно шьют для похорон: серое плоское небо, мокрый снег, который не падает, а нехотя оседает на плечи, и холод, пробирающий не снаружи, а изнутри. Народу пришло много — весь Викин класс с одинаковыми чёрными ленточками на рукавах, учителя, соседи, чужие незнакомые люди.

И вот тут со мной случилось то, что случается всегда, даже когда не надо, даже когда стыдно. Я начала смотреть. Не горевать — смотреть. Глаз сам, без спросу, принялся раскладывать толпу по полочкам, как привык. Вот девчонки из Викиного класса плачут по-настоящему, взхлёб, некрасиво — им четырнадцать, для них это первая в жизни смерть. Вот тётка в каракуле пришла поплакать «как полагается»: слёз нет, а платочек наготове. Вот сосед переминается и косится на часы — пришёл из приличия, мечтает домой вернуться поскорее. Я себя за это раскладывание тихо ненавидела — на похоронах ребёнка, господи, — но остановиться не могла. Голова у меня так устроена: вынь да положь ей, кто здесь кто.

И только один человек не лез ни в одну мою графу. Мужик лет под сорок, в аляске, чуть поодаль от всех: круглое мягкое лицо, светлые редющие волосы. Скорбел он правильно — ровно настолько, насколько положено, ни на грамм больше, будто по инструкции. И вот это «по инструкции» мне на полсекунды и зацепило глаз. А потом я решила что он сосед или дальняя родня, человек, который ходит на чужие проводы от собственного одиночества. И отвела взгляд.

Гроб был закрытый. Я смотрела на него и старалась не думать, почему он закрытый. Получалось не очень хорошо.

Лиля держалась за мою руку так, что после на коже остались следы от ногтей. Я не отнимала.

— Ты только не уходи, ладно? — шепнула она, не глядя на меня. — Пока всё не кончится. Стой рядом.

— Стою, — сказала я. — Никуда не денусь.

А рядом с Лилей стояла женщина — и на неё было страшнее смотреть, чем на гроб. Мать Вики и Лили. Невысокая, плотная, в чёрном платке. Она не голосила, не падала на крышку,

как падали дальние родственницы с поставленным горловым воем. Стояла прямо, смотрела в одну точку и молчала. И это молчание было громче любого крика.

Кто-то из учителей говорил речь — гладкую, правильную, всю из готовых деталей: «без-ременно ушедшая», «светлая память», «всегда будет жить в наших сердцах». Журналист во мне даже в эту минуту, сволочь такая, поморщился на штампы. А потом мне стало стыдно, что я вообще способна морщиться, когда Вику опускают в землю. Слова отскакивали от меня, как горох от стены. А потом гроб начали опускать, Лиля коротко, страшно охнула и спрятала лицо у меня на плече, и я отвернулась вместе с ней — и взгляд мой упал на свежий деревянный крест, воткнутый в землю рядом, временный, до настоящего памятника.

И меня к этому кресту потянуло. Физически, будто магнитом. Знаете это: нельзя, прямо нельзя, а рука сама тянется. Я покосилась на Лилю — она уткнулась в меня, не видит. И стянула с правой руки перчатку.

Не знаю, что на меня нашло. Может, горе притупляет осторожность. Может, я просто за весь этот день устала держать свой дар на коротком поводке. Но я протянула голую ладонь и положила её на сырое необтёсанное дерево.

И дёрнуло. Только не так, как дёргает во сне, когда к тебе по-настоящему приходят. Наяву, на людях, белым днём дверь не распахивается — щёлкает засовом и приоткрывается на палец, не больше. В эту щель потянуло холодом — не зимним, другим, изнутри. И кто-то с той стороны качнулся ко мне, близко, жадно, как заглядывают в приоткрытую дверь: пусти.

Я не пустила. Стояла на кладбище, среди живых, белым днём — тут нельзя, тут не засну, тут не место. Я сжала кулак и захлопнула дверь обратно, грубо, как захлопывают перед сквозняком. Картинки не было — наяву её и не бывает. Осталась только холодная, до тошноты ясная уверенность: там, за этим крестом, кто-то есть. И он рвётся ко мне.

Я отдёрнула руку. Покачнулась, чуть не упав на свежий холм. Лилия что-то спросила — голос её доносился будто из-под воды. Я мотнула головой: всё нормально, это от духоты. На кладбище, под открытым небом, при минус десяти — от духоты. Хорошо, что в горе люди не вслушиваются в чужие глупости.

Поэтому и записывать в диктофон было нечего — наяву мёртвые мне ничего не диктуют. Зато одно я теперь знала твёрдо, как собственное имя: я зацепилась. Голой рукой, о сырое дерево над её свежей могилой — и приоткрыла дверь. Теперь это только вопрос первого же сна. Я брела с кладбища и боялась вечера сильнее, чем самих похорон.

До общежития было близко. До дома — дорога долгая. Но в тот день мне вдруг до одури захотелось домой. Не в комнату к девочкам. Домой-домой. Туда, где мама первым делом заявит, что я опять отошала. Где чайник почти никогда не остывает. Где можно просто сидеть на кухне и хотя бы пару часов не думать ни про мёртвых девочек, ни про маньяков, ни вообще про что-нибудь важнее пирога с яблоками.

Голова раскалывалась ещё с кладбища. Перед глазами плавали серые мушки. Кажется, я всё-таки умудрилась простыть. Даже мелькнула крамольная мысль, что если к утру станет хуже, то на занятия не поеду. Переживёт институт один день без моего светлого присутствия. Поэтому вместо общежития я поехала к родителям.

«Приехала умирать, на два дня», — честно объявила я с порога.

Мама услышала только «приехала» и «два дня» и включила режим спасения голодающих Поволжья, немного удивилась, но допрос устраивать не стала. Напоила горячим чаем, накормила до отвала и всучила жаропонижающее — температура всё-таки успела подняться — и укутала меня так старательно, будто мне снова было пять лет, а не девятнадцать.

Я заснула почти сразу. И пришла Вика. Не страшная, не в крови, обычная девочка в светлой курточке, какой была живой. Она села на край моей кровати, как садятся свои, и повела за собой — в свой последний вечер. Тёмная обочина. Тёплый свет из приоткрытой двери машины без шашечек. Спокойный, ласковый голос: «Замёрзнешь же. Садись, красавица». И цифра —

белым по тёмному, наклонённая чуть вправо, с поперечной чёрточкой, как пишут не у нас: семёрка. Вика ткнула в неё пальцем, будто понимала, что мне нужно именно это. Дверь мягко хлопнула — и сон оборвался.

Проснулась я под собственный сдавленный всхлип. Добежала до ванной — из носа уже шла кровь, не капля, а всерьёз, тёмными тяжёлыми каплями на белую эмаль; в виске за левым глазом долбило так, что я зажмурилась и вцепилась в края раковины.

Дверь приоткрылась. Мама. Без слов — она в такие минуты всегда молчит, я, видно, в неё — намочила полотенце, приложила мне к переносице, усадила на бортик ванны, придержала за затылок прохладной ладонью. Так делают с детьми. Я и чувствовала себя ребёнком: дрянным, перепуганным, который полез куда не велено и обжёгся.

— Опять? — только и спросила она тихо.

— Опять, — сказала я в полотенце.

Она не стала допытываться. Просто сменила компресс и сидела со мной, пока кровь не унялась.

Когда кровь наконец остановилась, мама проводила меня в комнату и ушла. А я долго лежала в темноте своей детской и пялилась в потолок. Закрывать глаза не хотелось. Потому что раньше всё было по-другому. Да, ко мне тоже приходили. Показывали всякое. Страшное, неприятное, чужое. Но чужое и оставалось чужим.

А тут впервые пришла девочка, которую ещё вчера хоронили у меня на глазах. Не мелькнула где-то вдалеке. Не показала кусок дороги. Она взяла меня за руку и провела через свою последнюю минуту. Усадила рядом на то сиденье. Дала услышать тот голос. И вот это никак не отпускало. Стоило закрыть глаза — и я снова видела тёплый свет в приоткрытой двери. Снова слышала: «Садись, красавица». И знала то, чего не знала Вика. Что в эту машину ей нельзя. Что через несколько минут всё закончится. А предупредить не могла.

От этой мысли становилось по-настоящему жутко. Не от маньяка. От самого дара. Потому что раньше он казался странным. Непонятным. Иногда полезным. А теперь вдруг стало ясно, что всякий раз, когда я иду за кем-то во сне, я приношу обратно кусочек того, что мне показывают. И этот кусочек остаётся со мной. Сколько таких кусочков может поместиться внутри одного человека? Я не знала. И очень боялась однажды это выяснить.

За стеной папа сказал маме — тихо, думая, что я не слышу:

— Доигрались. С бабкой твоей доигрались. Говорил же.

Мама не ответила. И её молчание сказало мне больше любого спора.

Наутро, когда я уже собиралась обратно, позвонила Лиля. Голос чужой, ровный, выглаженный горем до полной гладкости.

— Люб. Мне Светка сказала... про тебя. Что ты иногда... можешь.

Я похолодела. Светка. Ну конечно. А ведь я ничего не рассказывала. Вообще никому не рассказывала — ни ей, ни девчонкам, ни своей подруге детства — Кате. Этот свой глаз, этот свой дар я прятала так, как другие прячут что-нибудь постыдное. Но Светка... Светка была радио. А радио невозможно научить молчать — это против его природы. Где-то она что-то заметила, где-то о чём-то догадалась, где-то сложила два и два — как я однажды дёрнулась, тронув чужую вещь; как побледнела в гостях у незнакомой бабки; как обхожу барахолки по большой дуге. И сделала то, что делала всегда. Пустила в эфир.

Не со зла. Просто иначе не умела. Чужая тайна жгла Светке язык, как горячая картошка: поддержать во рту можно, но недолго, иначе ожог. Я на неё страшно разозлилась. Вот честно — придушила бы. Не насмерть, конечно. Так, в воспитательных целях. Потому что одно дело трепаться про чужих ухажёров, оценки или новые сапоги. И совсем другое — про такое. Я уже собралась соврать Лиле что-нибудь убедительное. Что Светка всё перепутала. Что напридумывала. Что перечитала фантастики. Но не успела.

— Я не верю в это, — перебила она. — Вообще не верю, слышишь? В жизни бы не поверила. Но мне больше не к кому. Совсем не к кому.

Она замолчала. А потом сказала фразу, после которой я уже не смогла отказаться. Никак.

— У меня её вещи остались. Кофточка, ключи, телефон. Ты только попробуй. Один раз. Я тебя умоляю.

Встретились мы через день, в общежитии. Лиля приехала «отсидеться» — так она называла бегство из дома, где всё кричало о Вике даже в полной тишине. Села на краешек моей кровати, поставила на колени пакет — обычный, из «Пятёрочки» — и долго не решалась его открыть. Будто пока пакет завязан, можно ещё притворяться, что всё это понарошку, что сейчас она тряхнёт головой и проснётся.

— Лиль, — сказала я как можно мягче, хотя внутри всё сжималось. — Я честно не знаю, выйдет ли. Оно не по заказу. Может вообще ничего не показать. Может — ерунду, не по делу. И мне потом, скажем так, нездоровится: кровь из носа, голова. И не сразу — оно не наяву приходит. Мне надо с её вещью заснуть. Так что сегодня я только лягу, а выйдет или нет — узнаем к утру. Если не получится — не вини меня. И если получится — тоже. Ладно?

— Ладно, — прошептала она. И развязала пакет.

Кофточка. Маленькая, светлая, в мелких розочках — такие носят в четырнадцать, когда уже хочется по-взрослому, а мама ещё выбирает сама. Сверху лежали ключи на брелоке-смайлике и простенький телефон с поцарапанным экраном.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.